



Белая глина плавится в руках: не сопротивляется, но и не помогает. Плохой материал, капризный, но зато самый надежный. Так сказал Оракул Оби. Оракул никогда не ошибается.

Времени мало. Время — дорогой товар. Вчера ты богач, а сегодня уже бедняк. Удары сердца провожают ускользающие секунды, но не могут замедлить их бег, а глина не слушается...

Все нужно сделать правильно. Вот так: тело тонкое и гибкое, длинная шея, маленькая голова, волосы...

Волосы белые и мягкие, как пух, — удивительные, настоящие. У Лунной девочки должны быть белые волосы. А глаза черные и блестящие — эбонитовые бусины подойдут.

Губы. Губы не так уж важны. Намного главнее родинка на подбородке, маленькая, похожая на полумесяц.

Глина забивается под ногти, липнет к ладоням. Руки из-за нее кажутся белыми, как у Лунной девочки. Их некогда мыть. Время — дорогой товар, его почти не осталось.

В ушах стук барабанов, стены комнаты то наваливаются, то отплывают, потолка больше нет —

вместо него полуслепая черная луна. Нет, еще не совсем черная, но уже опасная.

Духи злятся, торопят, звук барабанов заглушает их слабые голоса. Надо спешить.

Зубы впиваются в край красной, точно молодая кровь, ткани. Ткань трещит, в зубах остается неровный клочок — платье для Лунной девочки.

Вот так, завернуть в него куклу, поверх обмотать веревкой — виток, еще виток.

Эбонитовые глаза смотрят с укором. Кукла еще не живая, однако все понимает. Кукле не нравится то, что с ней делают. Нужно, чтобы она стала настоящей...

Барабаны звучат громче, в спину что-то врезается, взгрызается в плоть, растворяется в теле. Перед глазами кровавый туман — духи бывают очень жестоки. Тем более когда времени мало. Главное — не сопротивляться...

Голова болит и кружится — это расплата за помощь духов. Цена, конечно, скромная, особенно для такого нелегкого дела.

Кукла теперь живая. Волосы — белый пух, глаза-бусины, родинка на подбородке, красное платье и, самое главное, амулет: медный диск с полумесяцем в центре, черный шнурок, змеей обвивающий тонкую шею.

Во рту горько и сухо, стены большие не качаются, и черная луна исчезла. Духи молчат — ждут.

Кукла сопротивляется, маленькие пальцы больно царапают кожу, оставляя на ней кровавые следы. Такие следы долго не заживают. Не надо бороться, Лунная девочка, все будет так, как задумано.

Сжать гибкое, горячее тельце в ладони, поднести к лицу. В эбонитовых глазах — ненависть пополам со страхом, в глиняной груди трепыхается

стеклянное сердце. Кукла уже живая, но еще не настоящая. Еще не вместилище...

— *Нарекаю тебя...* — *говорить больно, а время почти вышло.* — *Нарекаю тебя Лией...*

— Ну-ка, что у нас тут? — Чужие лапы жадно шарят по телу, сжимают сначала грудь, потом горло. Дышать больно, кричать невозможно.

Сама виновата! Просидела полночи на работе, опоздала на последний автобус, пошла напрямиком — через пустырь...

А теперь эти лапы на горле, и смрадное дыхание — запах гниения и перега-ра...

Платье трещит и рвется по вороту. Платье жалко, еще совсем новое, почти ненадеванное, купленное на распродаже в самом настоящем бутике, по скидке, за смешные деньги...

— А это что за побрякушка? — Вонь усиливается, перед глазами появляется небритая рожа. У рожи мешки под глазами, во рту не хватает половины зубов. Корявый палец подныривает под кожаный шнурок, вытаскивает из-за пазухи медальон. — Эй, глянь, какая цацка!

Рядом с первой рожей возникает вторая, такая же жуткая. Даже хуже: одного глаза нет, а второй наполовину заплыл.

— Похоже, что золотая цацка-то. — В единственном глазу зажигается алчный блеск.

Цацка не золотая, она это прекрасно знает, а вот сережки самой высокой, девяносто пятой пробы.

Попытаться, что ли, поторговаться: девичью честь в обмен на серьги?

— У-у-у! — Чтобы торговаться, нужно иметь возможность говорить, а она даже дышит с трудом. У нее, дуры непредусмотрительной, вообще нет никаких

возможностей. Газовый баллончик, и тот остался на рабочем столе. Получается — ни чести, ни сережек...

— Думаешь, золотая? Не уверен. — Циклоп всматривается в ее лицо, заскорузя ладонь неторопливо скользит по волосам, запорокидывает голову. — А сережки точно...

От резкой боли на глаза наворачиваются слезы, изо рта вместе с облачком тумана вырывается крик, по шее течет что-то липкое и теплое.

— Не ори, коза. — Циклоп лыбится, прячет сорванные сережки в карман. — Рано кричать, ничего плохого-то с тобой еще и не случилось.

В его взгляде не алчность, а похоть.

Теперь ей по-настоящему страшно: до дрожи в коленях, до потрескивания электрических разрядов в волосах. Платье жалела, сережки... Себя надо было пожалеть, потому что эти двое одной лишь девичьей честью не ограничатся...

Господи, а она ведь и не жила-то толком! Двадцать семь — разве ж это возраст для смерти? Да еще такой: отвратительной, смрадной, неприкаянной...

— Чего смотришь на меня, коза?! Чего гипнотизируешь? — Одноглазая рожа совсем близко, от мерзкого запаха к горлу подкатывает тошнота, а где-то в животе скручивается тугой пружиной ярость.

Умереть на заброшенном пустыре от рук вонючих бомжей? Уши порваны, платье испорчено, и бедному телу скоро достанется... А у нее столько планов, и в жизни она еще ничего не видела, и мама без нее пропадет...

Ярость неконтролируема, словно где-то внутри выстреливает стальная пружина: ногти впиваются в ненавистную рожу, колено впечатывается в пах. Врешь — не возьмешь!

Дышать становится легче. Это потому, что ее ни-

кто больше не держит. Циклопу есть за что подержаться — с ударом она все верно рассчитала, — а его приятель, похоже, не до конца понимает, что происходит. Стоит, раскинул в стороны руки-грабли, матерится, но с места не двигается.

Бежать! Карт-бланш ненадолго. Еще пару секунд промедления — и наступит смерть, смрадная и неприкаянная.

Дыхание сбивается, в ушах шумит и щелкает, а в боку болит. Забеги на длинные дистанции не ее конек. Спринтерский рывок — это да, но не по бесконечному пустырю, не на высоких шпильках.

— Куда, сука?! — Голос совсем близко. Не помог карт-бланш.

Шипастый куст царапает щеку, цепляется за платье, тормозит, не пускает. Ничего, осталось несколько шагов. А царапины заживут, подумаешь — царапины.

Вот уже и спасительные огни многоэтажек. Огней немного, но они есть. Значит, кто-то не спит, и вопли ее услышат, если что. Еще чуть-чуть — и не будет никаких кустов, никакой торчащей из земли арматуры, никаких вонючих маргиналов. Только бы добежать...

— Стоять! — Каблук-предатель ломается, ноге больно, а в глазах — серебристый туман. «Чуть-чуть» не считается, недобежала...

Цепкие руки грубо хватают за платье.

— Стоять, я сказал...

Дернуться, заорать как можно громче, позвать на помощь. Вдруг повезет, ведь дома же рядом. Главное, на рожу эту мерзкую не смотреть, в глаз этот циклопий...

Получается: и заорать, и дернуться, и даже вырваться. Вот только убежать не выходит. Непослушное тело валится назад. Все из-за каблука...

Земля мягкая, а затылку почему-то больно. Острая

вспышка — и серебристый туман становится красным. В нем плавают звезды и черная луна. Звездам все равно, а луне любопытно. Она опускается все ниже и ниже, пока не превращается в одноглазую рожу...

— А девка-то того, кажись, окочурилась...

— Ну дык, денежки-то нам за то и уплочены...

Туман сгущается, в нем нет уже ни боли, ни звезд, ни луны, ни Циклопа. И ее, Лии, больше нет...

...Кукла, нареченная Лицей, теперь не сопротивляется и даже не смотрит на него, своего мучителя. Глаза-бусины тусклые, от недавнего живого блеска не осталось и следа. Глиняная голова расколота, из трещины сочится кровь, окрашивает красным мягкие, как пух, волосы. Платье, порванное спереди и сзади, обвивает тонкие ножки грязными лохмотьями. Бедная кукла... Бедная Лунная девочка...

* * *

— Чего, Монгол, дрейфишь?! — Ленька Зубарев врезал носком ботинка по утопающей в кромешной темноте неприметной дверце.

Кто дрейфит? Нашли чем пугать бывалого! Он на Байкале на пятнадцатиметровую глубину погружался, с вертушки с парашютом прыгал аж шесть раз, на Кавказ в горы ходил в поход не абы какой, а пятой степени сложности, а тут такая ерунда — городской морг. И никакая это не проверка на смелость — он свою смелость уже давно кому требовалось доказал, — а самая обыкновенная глупость и мальчишеская бравада. Просто Зубарев, который в жизни своей ничего страшнее майской грозы не видывал, после пол-литры водки вдруг воззрился на него глазами,

еще не стеклянными, но уже шальными, и задал риторический вопрос:

— А не слабо ли тебе, Монгол?..

А он, дурак, вместо того чтобы послать Зубарева куда подальше и самому отправиться на боковую, повелся на провокацию:

— Не слабо, — даже недослушал, что товарищ вознамерился ему предложить. Не зря бывшая подружка называла его бедовым.

— Дружбан у меня есть, одноклассник, — Зубарев икнул и радостно улыбнулся, — совершенно отмороженный тип, работает санитаром в судебно-криминалистической лаборатории. Страшилки рассказывает такие — аж кровь в жилах стынет. Ну, там, про случаи всякие разные, про покойничков неупокоенных и тайны неразгаданные. Говорит, что на его работе никто долго не задерживается, а если задерживается, то либо сидит до срока, либо спивается, потому как по-другому не получается, крышу сносит едва ли не в первую ночь дежурства.

— Так уж и сносит? — Ему бы сразу догадаться, к чему Зубарев клонит, а он вопросы начал задавать...

— А то! Когда ты один, а их десятки — это ж тебе не хухры-мухры!

— Кто — они?

— Ну, трупы. Переночуй-ка ночьку в такой теплой компании, точно посидеешь. Тут Гоголь со своим «Вием» отдыхает. И, наверное, даже Кинг... — Зубарев нервно поежился, посмотрел с вызовом. — Валик меня давно уже на огонек зазывал, чтобы я лично убедился, что это все не пустые разговоры, а истинная правда.

— Про Вия?

— Да не про Вия, а про профессиональную вредность. Ты понимаешь, я ему о том, как нынче тяжело

работать менеджером в солидной компании, постоянные нервы и стрессы. А он мне: «Ты, Зубарь, еще настоящих стрессов не видел, и все твои риски — чистой воды детский сад». Это он к тому, что у нас с тобой, людей занятых и карьерно реализованных, не работа, а детский сад, а у него, недоучки, — сплошной «хичкок».

— Ну и что? Пусть даже и «хичкок», нам-то с тобой что? — Вообще-то у него, Александра Сиротина, на рабочем месте едва ли не каждый день «хичкок». То конкуренты какую-нибудь ерунду замутят, то договора «подвиснут», то вот кризис, будь он неладен.

— А то, — Зубарев начал заводиться, — что Франкенштейн этот доморощенный считает нас с тобой хлюпиками и ничтожествами, а себя таким бесстрашным суперменом, борцом с темными силами.

— Пусть считает, надо же ему как-то ночи коротать.

— Нет, ты его слов не слышал, он мне прямо в глаза заявил, что если я окажусь на его месте хотя бы на пару часов, то обделаюсь! Я, человек, который контракт на чертову кучу денег у конкурентов буквально из пасти вырвал, головой своей рисковал!

— Положим, головой ты, Леонид, не рисковал. — Монгол с легкой завистью посмотрел на вихрастую башку товарища, провел ладонью по своей бритой макушке. Двухдневная щетина уже начинала колотиться да и выглядела, наверное, не слишком презентабельно. Завтра надо бы побриться. Точнее, уже сегодня. — Но места своего мог бы запросто лишиться.

— Так вот и я о том! — оживился Зубарев. — Я о том, что наши с Валиком риски несоразмеримы, а он тупо продолжает называть меня хлюпиком. Так если тебе не слабо, я звоню! — Он выудил из кармана мобильник.

— Кому, Франкенштейну своему? — Монгол обвел взглядом уютный бар и с тоской констатировал, что

уходить отсюда ему совсем не хочется: ни домой, ни уж тем более в сомнительное место под названием «городской морг». Хорошо еще, что завтра суббота и можно будет отоспаться после бессонной ночи, а в будний день он бы на зубаревские провокации ни за что не повелся.

— Ему, окаянному, — Ленька поднес трубку к уху. — Только бы он сегодня дежурил.

Им «повезло», Валик-Франкенштейн дежурил. Мало того, звонку Зубарева обрадовался невероятно, велел выдвигаться незамедлительно и для успокоения нервов, которым непременно грозят страшные потрясения, захватить с собой побольше водки. Ну и закуси. Как же без нее?!

До места они добрались быстро. Ночной город на пару часов забыл о пробках, был дружелюбен и назойлив, как подвыпивший товарищ: подмигивал разноцветными огнями рекламы, зывал распахнутыми дверями клубов, казино и круглосуточных супермаркетов, соблазнял пугливыми стайками проституток. Город жил и развлекался, а им, двум дурням, предстояло коротать ночь в обществе трупов и санитара с манией величия...

— ...Ты, главное, не дрейфь! Поздно дрейфить-то! — Зубарев продолжал дубасить в запертую дверь, но по истеричным ноткам, проскальзывающим в его голосе, было понятно, что подбадривает товарищ, скорее всего, самого себя.

Монгол молча отодвинул Зубарева в сторонку, поширил ладонью по стене и нажал на кнопку звонка. Чего силы тратить и казенное имущество крушить, если вот оно — чудо прогресса? Главное, чтобы это чудо еще и работало, а то мало ли что. Вон, к примеру, на территории морга ни один фонарь не горит. Может, из экономии, а может, для пушшего антуражу.

Время шло, а им так никто и не открыл.

— Ну, что стоять-то тут? Может домой? — с плохо скрываемой надеждой спросил Зубарев и испуганно вздрогнул, когда за их спинами что-то зловеще хрустнуло.

— Здрашत्वуйте, гошти дорогие. — Из темноты вынырнула долговязая тень. — Давненько я человечешкой кровушкой не баловалша.

Скудного лунного света хватило, чтобы увидеть белый балахон, раскинутые в стороны лапы и фосфоресцирующие клыки.

— Матерь Божья... — Зубарев прижался спиной к запертой двери и забормотал что-то неразборчивое.

Чудо в балахоне Монгола не впечатлило, скорее взбесило — самому захотелось кровушки или, на худой конец, свернуть кому-нибудь шею. Возможность представилась почти сразу же: привидение или вампир — хрен поймешь — с замогильным подвыванием шагнуло навстречу. Шея у него оказалась хилой, прямо-таки цыплячьей, и как только Монгол сжал ее чуть посильнее, подвывания сменились жалобным визгом.

— Эй, мужик, ты што, шуток шовсем не понимаешь? — При ближайшем рассмотрении оказалось, что это, конечно, не вампир, а тщедушный, облаченный в медицинский халат парень, дикцию которого изрядно портила пластмассовая вставная челюсть.

— Таких не понимаю. — Монгол разжал пальцы, и горе-вампир отпрянул в сторону. — Вроде бы в гости серьезных людей позвал, а сам тут устраиваешь какой-то цирк. Зубы где взял?

— У племянника одолжил. — Челюсть шлепнулась на крыльцо, противно хрустнула под наступившим на нее ботинком. — Думал, прикольно получится, а вы совсем без юмора.

— Я с юмором, — подал голос приободрившийся Зубарев, — я тебя, Валик, сразу узнал.

— А чего ж, если узнал, чуть дверь от страха не снес? — Валик поднялся на крыльцо, зазвенел ключами.

— Так это я подыграть тебе решил, думал товарища своего напугать, а он, видишь какой оказался, без юмора...

— В моем деле без юмора никак нельзя, потому что...

Разъяснения Валика потонули в пронзительном скрипе открывающейся двери, под козырьком крылечка ярко вспыхнула лампочка. Значит, электричество в этом царстве мертвых все-таки имеется, просто его экономят.

— Водку принесли? — В бескомпромиссном электрическом свете от готического антуража зубаревского одноклассника не осталось и следа. Высокий, болезненно худой, с копной рыжих волос и редкой щетиной, парень выглядел не особо респектабельно и на роль Харона совсем не годился. Даже подозрительные бурые пятна на мятом медицинском халате не добавляли ему brutality. Невольно задашься мыслью — а стоит ли такому заморышу что-либо доказывать?

— Обижаешь, — Зубарев кивнул на стоящий на крыльце пакет с провиантом.

— А пожрать? Жрать что-то хочется. — Валик-Франкенштейн уже окончательно оправился от пережитого унижения и теперь давал понять, что ситуация под контролем и главный в ней именно он, а не какие-то там залетные гости.

— И выпить, и пожрать, — Зубарев в нетерпении пританцовывал перед распахнутой дверью, но войти не решался. — Ну, что ж ты нас на пороге держишь, что ж не приглашаешь в свою обитель страха?

— Обитель страха — как ты хорошо сказал, — Франкенштейн приосанился. — Главное, чтобы вы потом не пожалели. — Его рябая от веснушек морда расплылась в зловещей улыбке.

— Не пожалеем. — Монгол, которому ритуальные танцы на крыльчке изрядно надоели, оттер Франкенштейна от двери и решительно переступил порог.

На первый взгляд ничего ужасного в «обители страха» не наблюдалось. Если не принимать во внимание явные следы запустения. Длиннющий, похожий на тоннель коридор с облупившейся грязно-зеленой краской на стенах терялся в темноте. От выложенной в шахматном порядке черно-красной плитки рябило в глазах. Пол, казалось, бугрился и вздыбливался под ногами. А может, это был вовсе не оптический обман, а разгильдяйство плиточников. Выяснить причину Монголу не хотелось.

— Куда идти? — спросил он не оборачиваясь.

— Прямо по коридору, — в голосе Франкенштейна послышались злорадные нотки, — там в самом конце будет лестница в подвал.

— А нам в подвал? — подал голос Зубарев.

— Да, Леонид, нам в подвал. — Злорадные нотки сменились зловещими.

Монгол поморщился. Происходящее не нравилось ему все больше и больше. И не из-за страха. Коль уж этот рыжий заморыш тут обитает и со страху не умирает, то ему-то чего бояться? Просто неприятно плясать под чужую дудку, заниматься всякой ерундой, да еще в столь несимпатичном месте.

— А что в подвале? — не унимался Зубарев.

— Так они.

— Кто?

— Жмурики. — Франкенштейн щелкнул выключателем, и коридор осветился мертвенно-белым све-

том. — Вы ж сюда не просто так пришли, ребята? — Он обернулся, с вызовом посмотрел на Монгола, подмигнул притихшему Леониду. — Вы ж смелые и решительные, у вас же жизнь — сплошные стрессы. А мы тут так — ромашки нюхаем.

— Ромашки? — Зубарев потянул носом, — Что-то не особо тут ромашками пахнет. Химия какая-то.

— Формалин это, раствор для консервирования.

— А что консервируете?

— Огурцы, блин! Ты, Зубарь, что, совсем дурак? — Франкенштейн окинул побледневшего Леонида снисходительным взглядом и скомандовал: — Ладно, хватит разговоры разговаривать. За мной!

Коридор только сначала показался похожим на тоннель, а на поверку выходило, что состоит он не только из облупленных стен и бугристого пола, но имеет еще и два ряда дверей, выкрашенных все той же унылой зеленой краской. Скорее всего, в обычные дежурства, не обремененные гостями и жаждущими приключений экскурсантами, зубаревский одноклассник коротает ночи за одной из этих дверей. Небось дрыхнет себе на кушетке под зажженной настольной лампой и о своих необычных соседях думать не думает. А тут, видишь, перья распустил, челюсть вампирскую вставил, ужасами пугает. Тьфу...

— Вот уже почти пришли. — Франкенштейн притормозил перед единственной забранной решеткой дверью, загремел ключами.

— А решетка зачем? — Зубарев дернул его за рукав халата.

— Чтобы они не выбрались, — сообщил Франкенштейн зловещим шепотом.

Уточнять, кто «они», Леонид не стал, прижался спиной к облупленной стене, прикрыл глаза. Боится друг. Видно, что боится. Так зачем же поперся черт

знает куда, черт знает зачем?! Да еще и его с собой потащил. Хотя зачем потащил, понятно — для смелости. Если бы не Монгол, лежать бы сейчас Леониду на крылечке в глубоком обмороке, а потом еще долго посещать какого-нибудь дорожущего психотерапевта, чтобы избавиться от страха перед всякой нечистью. А одноклассничек его хорош, ради какого-то вшивого самоутверждения готов человека довести до нервного срыва. Монгол посмотрел на наручные часы — второй час ночи. Хорошо хоть, что водку с собой прихватили, будет чем время убить.

Вопреки ожиданиям в подвал вела не лестница, а пологий спуск. Облупленную краску на стенах сменила белая плитка с кое-где нарисованными на ней красными стрелками и бегущими человечками, видимо, указывающими направление экстренной эвакуации. Только вот странно, человечки бежали не вверх к зарешеченной двери, а вниз. Может, из этого царства мертвых ведет какой-нибудь подземный ход?

Монголу однажды довелось лежать с переломом в больнице, и от нечего делать он подробно изучил тамошнюю архитектуру. Получалось, что больница — это не только надземная часть, но еще длиннющие подземные коридоры, вот типа такого, соединяющие между собой корпуса, пищеблоки и хозяйственные постройки. Так что не исключено, что человечки бегут в правильном направлении, к какому-нибудь административному зданию или котельной.

Кстати, в отличие от своего надземного собрата этот коридор особой антипатии не вызывал. Единственное, что раздражало, — гулкое эхо, из-за которого казалось, что идут не три человека, а рота солдат.

— Долго еще? — Зубарев хорохорился, но чувствовалось, что о своем опрометчивом поступке он уже пожалел не единожды.

— Скоро, не дрейфь. — Франкенштейн вышагивал бодро, расстегнутый халат развевался за его спиной, точно рыцарский плащ. А следом по кафельной стене кралась долговязая тень, с виду совсем самостоятельная, автономная от своего придурковатого хозяина. От этой кажущейся автономности Монголу вдруг стало не по себе, захотелось на свежий воздух, а еще лучше — обратно в бар. Чтобы прогнать наваждение, пришлось спешным порядком разозлиться, благо, повод для недовольства имелся. Ладно Ленька, романтик и офисный авантюрист, ладно этот больной на всю голову Франкенштейн, но он-то сам — мужик серьезный и здравомыслящий. Зачем, спрашивается, впутался в такую идиотскую историю?! Но теперь-то уж что? Назад дороги нет.

Пока Монгол на чем свет костерил себя за мягкотелость и излишнюю подверженность чужому влиянию, окружающий подземный мир начал меняться. Сначала изменения были нестрашными: коридор стал уже из-за приткнутых у стен пустых каталок. А вот дальше... Дальше каталки оказались заняты. Под бурыми простынями отчетливо угадывались человеческие тела, кое-где выглядывали босые ноги с привязанными к синим щиколоткам бирками. Голливуд, только страшнее.

— Это еще что? — Голос Зубарева сделался слабым и хриплым.

— Они, — буркнул Франкенштейн, не замедляя шаг. — Сейчас же лето — пора отпусков. Врачей не хватает, всех жмуриков за смену вскрыть не получается. Вскрывают только самых важных, тех, из-за которых следы особенно наседают. А остальным приходится ждать своей очереди.

— В коридоре? — хмыкнул Монгол.

Взгляд приковала к себе тонкая, явно женская ру-

ка, свешивающаяся с каталки: длинные пальцы, красный лак на ногтях, плетеная из кожаных ремешков фенечка. Если судить по ней, девочка совсем молоденькая. Молоденькая, а уже прописалась тут, в подземном коридоре...

— Так это свежие, — Франкенштейн притормозил, одернул простыню, прикрывая руку с фенечкой, — им еще меньше суток. Утром персонал придет, рассортирует. А пока приходится тут... своей очереди ждать.

— Ужас. — Зубарев смахнул выступившую на лбу испарину.

— И ничего не ужас. — Франкенштейн фамильярно похлопал лежащее под простыней тело, отчего простыня поползла вниз, обнажая стройную девичью ногу и край ярко-красной юбки. — Обычная рутина.

— Рутинка... — Монгол отвернулся. Не потому, что испугался представшего взгляду зрелища, а от отвращения перед человеческим цинизмом. У девочки этой небось есть родители, любимый парень. Может, они ее сейчас ищут, места себе не находят, а она тут, под грязной простыней, в подземных катакомбах городского морга.

— Что, жутко? — Франкенштейн самодовольно усмехнулся. — Так вы еще самого интересного не видели.

— И не увидим, — сказал Монгол и так посмотрел на зубаревского одноклассника, что если у того и было желание поспорить, то исчезло оно быстро.

Рядом облегченно вздохнул Леонид, которому, судя по всему, происходящее уже давно перестало казаться забавным приключением.

— Так это... — Франкенштейн замялся, с тоской по-

смотрел на пакет с выпивкой и провиантом, — может, тогда сразу ко мне в кабинет, выпьем за знакомство?

Пить за такое сомнительное знакомство не хотелось, а вот просто напиться — пожалуй, да. Монгол молча кивнул.

«Кабинет» находился за невзрачной дверцей с надписью «Техническое помещение» и представлял собой каморку, в которой ютились письменный стол, затянута клеенкой кушетка, парочка колченогих стульев, тумбочка с электрочайником, стеклянный медицинский шкаф и вешалка для одежды. На вешалке висело несколько медицинских халатов не первой свежести и выдавшая виды шапка-ушанка.

— Прощу! — Франкенштейн хозяйским жестом обвел все это богатство, рукавом смахнул со стола застарелые хлебные крошки.

— Что-то маловат кабинетик-то. — Зубарев бочком протиснулся в каморку, опасливо осмотрелся, поставил на стол пакет с провиантом, а сам пристроился на край стула.

— Для одного нормально. — Франкенштейн чуть ли не с головой нырнул в пакет и, радостно присвистнув, принялся извлекать на свет божий бутылки с водкой и закуску.

Монголу в качестве посадочного места досталась кушетка. От стола далековато, но так даже лучше: компанию, в которой предстояло дожидаться рассвета, даже с натяжкой нельзя было назвать душевной.

— Ну, не будем откладывать на завтра то, что можно выпить сегодня! — Франкенштейн извлек из тумбочки одноразовые пластиковые стаканчики и несколько тарелок, перочинным ножиком покромсал колбасу, подолом халата протер помидоры, все тем же ножом вскрыл банку с консервированной ветчиной, зубами разорвал обертку на буханке «бородин-

ского» хлеба и, ловко свинтив крышку с одной из бутылок, разлил ее содержимое по стаканчикам.

С брезгливостью наблюдая за этими приготовлениями, Монгол решил, что закусывать он, пожалуй, не станет, а ограничится только спиртным. Есть то, к чему прикасались немытые лапы санитара, не возникало ни малейшего желания. На лице Зубарева читалось точно такое же смятение чувств и явное нежелание делить трапезу с Франкенштейном. Друг, наверное, и водку бы пить не стал, если бы его отказ не выглядел совсем уж подозрительно.

— За знакомство! — Франкенштейн, никаких душевно-гигиенических терзаний не испытывавший, отсалютовал им наполненным стаканчиком и лихо — чувствовалась регулярная тренировка — опрокинул в себя его содержимое. — Эх, хорошая водочка! — Он вытер губы рукавом, которым прежде смахивал со стола, отправил в щербатую пасть ломоть колбасы и вгрызся в спелый бок помидора.

Чтобы не видеть столь вопиющее безобразие, Монгол зажмурился, одним глотком осушил свой стакан, потянулся было за хлебом, но в самый последний момент отдернул руку и подцепил на кончик ножа кусок ветчины. Ветчину, кажись, этот рыжий руками не лапал. Зубарев точь-в-точь повторил маневр Монгола, удовлетворенно крикнул, откинулся на спинку стула и сказал, осматриваясь по сторонам:

— А ничего у тебя, Валик, работенка. Знай себе — ешь да пей. Тишина кругом, никто не дергает.

— Иногда дергают, — Франкенштейн многозначительно пошевелил белесыми бровями, — но я уже привык. А тишина... — Он достал из кармана компакт-диск, вставил его в допотопный, обмотанный изолен-той проигрыватель, щелкнул клавишей. — Тишина в таком месте — это скорее плохо, чем хорошо. От ти-

шины крышу сносит очень быстро, начинает всякая ерунда мерещиться.

— Какая ерунда? — Зубарев плеснул себе еще водки, прислушался.

— Всякая, — отмахнулся санитар и потянулся за бутылкой. — Тут у меня специально на тот случай музыка припасена.

Словно в подтверждение его слов проигрыватель прокашлялся и разразился барабанным боем. Зубарев вздрогнул, расплескал водку, испуганно втянул голову в плечи.

— Торкает? — довольный произведенным эффектом, Франкенштейн расплылся в улыбке и прибавил звук. — Это особенная музыка. Кто говорит, этническая, кто — трансвая. Но бодрит, зараза, бодрит...

Музыка и в самом деле бодрила — тут Монгол был вынужден с санитаром согласиться. Дробный перестук барабанов, шуршание трещотки, позвякивание шаманского бубна и глубокий женский голос, поющий-бормочущий что-то непонятное, но завораживающее. Однажды на одной из узкоспециализированных рокерских сходов он уже слышал подобное и даже знал, кто исполнитель.

Группа называлась одновременно незатейливо и веско — «Тотем» — и состояла из трех молоденьких девчонок. Девчонки эти все в тех же узкоспециализированных кругах считались самородками и подавали большие надежды. Особенно одна. Монгол забыл ее имя, запомнив только, что девочка выглядела довольно заурядно, на матерую рокершу совсем не походила. Ни тебе килограммов металлолома, ни привычной для андеграунда расхристанности и стремления к ненавистному всякому нормальному мужику унисексу. Свитерочек в обтяжку, узкие брючки, до блеска начищенные ботиночки, короткие волосы, чисто вы-

мытые, аккуратно уложенные. На личике минимум косметики. Во всяком случае, оттуда, где он сидел — а место ему досталось почти у самой сцены, — не было видно ничего экстраординарного. Одним словом — девочка-студентка, непонятно каким чудом забредшая на закрытую рокерскую тусовку.

Так казалось до тех пор, пока барышня не уселась за барабанную установку. Сначала ничего особенного на сцене не происходило, Монгол даже немного заскучал, а потом как-то незаметно обычная композиция превратилась в таинство — по-другому и не назовешь, — а девочка-студентка в неистовую вакханку. Нет, пожалуй, вакханка — это из другой оперы. В данном случае опера была с явными африканскими мотивами и пахивала не вакханалией, а старыми как мир и такими же загадочными шаманскими ритуалами.

Влад Ворон, друг и музыкант со стажем, который и притащил Монгола на концерт юных дарований, тогда едва не прослезился от умиления, а в конце выступления, позабыв о своем звездном статусе, бросился к барышням выказывать свое восхищение. Причем львиная доля восхищения досталась именно барабанщице. Монгол видел, как девочка заливается краской, испуганно одергивает свой и без того до безобразия целомудренный свитерок и смущенно опускает очи долу. Уже потом Ворон рассказал, что пытался уговорить шаманку-барабанщицу на совместный проект, а она, дуреха, отказывалась, лепетала что-то о своей тотальной занятости. У нее, понимаешь ли, работа, диссертация, а музыка — всего лишь хобби, маленькая блажь. Не видит она себя в качестве барабанщицы, пусть даже временной, такого рок-монстра, как вороновский «Фаренгейт». Ворон тогда очень сильно разозлился и поклялся, что юное даро-

вание заполучит в свою команду любой ценой: не мытьем, так катаньем.

Происходило это не так давно, всего пару недель назад, потому в памяти Монгола было еще достаточно свежо, и музыка, вырывающаяся из обмотанного изолентой проигрывателя, казалась хоть и авангардной, но едва ли не по-домашнему уютной. Странно лишь одно — каким образом диск с записью попал в лапы Франкенштейна. С виду парень не производил впечатления музыкального гурмана, а тут такие неожиданные пристрастия.

— Приятель один дал послушать, сказал, что вещица улетная, — Франкенштейн сам ответил на незаданный вопрос. — Жутковатая, правда, малость. — Он взъерошил и без того торчком стоящие волосы.

— В таком дивном месте, — Монгол плеснул себе водки, — и «Лунная соната» покажется жутковатой. Менял бы ты работу, Валик.

— А зачем? Где я еще так устроюсь, чтобы и платили нормально, и по мозгам не ездили? Надо мной начальников, почитай, и нету. То есть они, конечно, есть, но мужики понятливые, мировые. Сами в этой кухне варятся, знают, почему фунт лиха.

— Так страшно же, — Зубарев, отошедший от потрясения, решил поддержать беседу. — Сам же говорил про седину и все остальное...

— Врал, — Франкенштейн легкомысленно махнул рукой, подцепил кусок колбасы и придвинул к себе наполовину опустевшую бутылку. — Мой батяня знаешь что говорил? Не бойся, Валентин, мертвых, бойся живых. — Он назидательно поднял вверх указательный палец. — Те, которые в коридоре, они мирные. Гораздо сложнее с их родственниками. Вот где можно поседеть. Но человек — он существо такое, ко всему привыкает. Вот и я привык.

— А решетка на двери зачем? — Полученная информация повлияла на Зубарева самым благоприятным образом: он заметно расслабился, даже позволил себе робкую улыбку.

— Да хрен ее знает! Мы обычно дверь на замок никогда не запираем. Что у нас тут воровать-то?

Да, воровать здесь действительно нечего. Тут Монгол с Франкенштейном был целиком и полностью согласен. А парень вроде как и ничего. Если отбросить шелуху из дешевых спецэффектов, нормальный получится мужик, может, лишь самую малость чудаковатый. Так у него, что ни говори, специфика работы такая, обязывающая к цинизму и душевной черствости.

— Ну что, накатим по третьей, чтобы продукт не выдыхался? — Франкенштейн, не дожидаясь ответа, разлил остатки «продукта» по стаканчикам, придвинул поближе к Монголу тарелку с колбасой.

Несмотря на робкие ростки симпатии, от закуски Монгол отказался. Симпатия симпатией, а гигиену еще никто не отменял. Но после третьей дружеское общение наладилось как-то само собой. Душевности и расслабленности поспособствовала и очередная бутылка водки, после которой окружающая действительность утратила грязно-зеленый оттенок безысходности и окрасилась в чуть более оптимистичные цвета.

Как это и происходит после определенной дозы горячительного, беседа из плоскости бытовой и приземленной постепенно переключилась на высшие и особо злободневные сферы: политику и мировой финансовый кризис. Тут уже Зубарев перья распустил, поразил одноклассника в самое сердце умом и эрудированностью, козырнул двумя высшими образованиями и полезными знакомствами на «самом верху».

Монгол подозревал, что упомянутые знакомства скорее из области желаемого, чем действительного, но одергивать товарища не стал, в подтверждение сказанного изредка кивал головой да украдкой позевывал. В каморке не имелось окна, оттого время, казалось, остановилось, хотя стрелки наручных часов неуклонно подбирались к половине пятого. Значит, снаружи уже рассвет, еще чуть-чуть и бесовская пора закончится, можно будет с чистой совестью откланяться и отправиться домой на боковую, а потом под настроение рассказывать чувствительным девицам о своей экскурсии в городской морг. Можно даже кое-что приврать для красоты и пущего драматизму. По части приукрашения действительности у него, конечно, нет такого богатого опыта, как у Зубарева, но при определенной доле прилежания и фантазии истории получится вполне правдоподобной.

Размышления его прервал резкий звук. От неожиданности Монгол икнул, из расслабленного полугоризонтального положения перешел в вертикальное и вопросительно посмотрел на Франкенштейна.

— Вот нет же покоя! — тот с кряхтением выбрался из-за стола и добавил с виноватой улыбкой: — Очередного привезли. Вы, ребята, посидите, а я быстро: одна нога — тут, другая — там.

Звук тем временем не прекращался, а после того, как Франкенштейн открыл дверь, даже усилился. Монгол только сейчас понял, что это всего-навсего звонок вызова, чтобы те, кто снаружи, могли поставить в известность тех, кто внутри, о своем желании войти. Франкенштейн выскользнул из каморки, и через мгновение по подземному коридору разнеслось эхо его шаркающих шагов.

— Ну, как тебе? — Зубарев пьяно улыбнулся, а по-

том широко зевнул. — Скажи, ничего здесь страшного и нету.

Ничего страшного здесь, разумеется, не было, но и утверждать, что в распитии водки в городском морге есть некая эстетика, Монгол бы не стал, а потому лишь неопределенно мотнул головой.

— Будет что внукам рассказать. — Зубарев потянулся за початой бутылкой, примерился, разлил водку по стаканам. — И Валик мужик неплохой, сам видишь. Просто у него жизнь не сложилась: с женой развелся, из мединститута поперли, вот он и реализуется как может.

Монгол снова кивнул. Вступать в полемику с другом желанья не было, хотелось спать. Он с тоской посмотрел на полуоткрытую дверь каморки. Все, хватит с них романтики-экзотики, сейчас Франкенштейн вернется, и можно уходить. Конец экскурсии.

— Ну, давай накатим, так сказать, за упокой здешней братии... — Зубарев, который после первой поллитры становился смелым и циничным, поднял свой стакан.

Поднял, но до рта так и не донес, застыл с выпученными глазами и перекошенной рожой, замычал что-то нечленораздельное, а потом начал медленно заваливаться под стол.

Картина эта была столь необычной и неожиданной, что ко всякому привыкший Монгол растерялся. Здравый смысл нашептывал, что товарищ всего-навсего перебрал, а интуиция во все горло вопила, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Наверное, он бы прислушался к голосу здравого смысла, если бы не странный звук, доносящийся со стороны двери. Звук был похож на дробное пощелкивание и из привычного расклада вещей выбивался категорически. Чтобы выяснить его причину и источник, требова-

лась самая малость — надо было всего лишь повернуть голову, но сделать это у Монгола как раз и не получалось. Поцелкивание тем временем дополнилось шуршанием и чем-то похожим на стон.

Все, больше тянуть нельзя, нужно заглянуть в лицо собственному страху. Тело, хоть и изрядно расслабившееся после бессонной ночи, но еще не до конца утратившее молодецкую удаль, пружиной сорвалось с кушетки, развернулось к двери, приготовилось к встрече с неведомым гостем.

Это был не гость, а гостья...

Бледное до синевы личико с черными глазюками. Светлые волосы, слипшиеся от засохшей крови. Бурные ручейки стекают по тонкой шее, ныряют за вырез порванного на груди платья. Платье искромсанными лоскутами обвивает босые ноги, ярко-красное, диссонирующее с синей клеенчатой биркой на худой щиколотке... Длинные пальцы цепляются за дверной косяк, на левом запястье — фенечка из плетеных кожаных полосок. Где-то он уже такую видел...

Видел, черт возьми: и красное платье, и клеенчатую бирку, и фенечку. Сегодня ночью, в коридоре на кушетке, под грязной простыней. А Франкенштейн, мать его, убеждал, что мертвых бояться не стоит, что бояться нужно живых...

— Холодно... — бледное личико гостьи исказила судорога, зубы, выбивавшие до этого мелкую дробь, скрипнули. Все еще цепляясь за дверь, девица шагнула в каморку. Черные углы глаз вперились в Монгола. Гоголевская панночка, честное слово. Не хватает только летающего гроба...

Ассоциации с «Виём» неожиданно оказались спасительными, позволив телу выйти из ступора и, что самое главное, включиться мозгам. Ай да Франкенштейн, ай да сукин сын! Это ж что удумал, стервец!

Классно их развел, ничего не скажешь. И когда только успел подготовиться?! Даже ассистентку среди ночи подыскать умудрился, заgrimировать, проинструктировать.

А девица тоже не промах! Станиславский со своей системой нервно курит в сторонке. Грим гримом, но какой же недюжинный актерский талант нужно иметь, чтобы так сыграть! Уж до чего он бесстрашный и рациональный, а и то сначала повелся. И глазюки эти inferнальные, и зубы клацают очень правдоподобно, и синева совсем натуралистичная. Одним словом — браво, красавица, откатала программу на все сто!

— Холодно, — «покойница» продолжала тянуть к Монголу руку и даже рискнула отлепиться от двери, — помогите...

Конечно, холодно — босиком-то по цементному полу. Да и в подвале не жарко, полежи-ка недвижимо пару часиков на железной каталке в тонком платьице. Тут безо всякого грима посинеешь. А волосы небось кетчупом намазала или еще какой дрянью. Но взгляд-то, взгляд какой убедительный...

Увлечись рассматриванием «покойницы», Монгол не сразу заметил, как в каморку зашел Франкенштейн, обернулся, лишь когда услышал за спиной его сердитый голос:

— Ложная тревога, други! Какое-то хулиганье повадилось по ночам звонить. В мою смену такого еще не случалось, а Егорыч рассказывал, что его эти неизвестные любители пошалить уже два раза поднимали. А что у вас тут?

Франкенштейн замолчал так красноречиво, что Монгол позволил себе восхититься и его актерским гением. Еще один последователь системы Станиславского: стоит, глаза вытаращил, рвет ворот рубашки,

точно ему воздуха не хватает. Куда там недавнему представлению со вставными челюстями, наверное, берег талант для финальной сцены. За такое долготерпение и подыграть не жалко.

— А это у нас гостя, — Монгол зловеще улыбнулся. — Пока ты с хулиганами разбирался, девушка решила украсить своим присутствием нашу мужскую компанию. А что, симпатичная девушка. С макияжем, правда, перебор, а так ничего, после третьей бутылки водки сойдет.

— Помогите, — «покойница», молодец, не растерялась, поддержала мизансцену: всем корпусом, медленно-медленно, развернулась к Франкенштейну и спросила шепотом: — Где я?

В принципе на этом в маленьком спектакле под названием «Ожившие мертвецы» можно было бы поставить точку, но Франкенштейн повел себя совсем уж не по сценарию. Продолжая нервно теревить ворот рубашки одной рукой, а второй неистово креститься, он прижался спиной к двери, тихо хрюкнул и со всей мочи заорал:

— Изыди, нечистая!

От его вопля барышня вздрогнула и даже перестала клацать зубами, а Франкенштейн, наверное, исчерпав все свои актерские силы, рухнул на пол. К слову, рухнул тоже весьма реалистично, даже чересчур. Монгол отчетливо услышал, как рыжая башка с гулким звуком тюкнулась о бетонные плиты. Ни один спектакль в мире не стоил таких жертв. Это настораживало и наводило на определенные размышления...

Не то чтобы Монгол очень уж сильно испугался, но по спине все ж таки побежал неприятный холодок. Нет, не страха, скорее недоумения. Творившееся здесь явно выходило за рамки обыденности, если вообще можно назвать обыденностью ночь, проведенную в

компании покойников. Зубарев без чувств валялся под столом, Франкенштейн разлегся перед дверью и не подавал признаков жизни, а вот та, которой признаки эти не нужны по определению, сверлила Монгола своими инфернальными глазюками...

— Ты кто? — Вдруг проснувшийся в нем дипломат решил попробовать урегулировать конфликт миром. — Ну, что молчишь, красавица?.. — А вот трус, о существовании которого он даже не подозревал, решительно подталкивал вновь ставшее непослушным тело поближе к выходу.

— Где я? — Девушка оказалась не из простых, на вопрос предпочла ответить вопросом, потом оттолкнулась от стены и с тихим стоном шагнула к Монголу...

Оказалось, что он многого о себе не знает. Например, того, что орать он умеет очень громко. И ладно бы как-то по-мужски, нецензурно бранясь, — было бы не так обидно. Но он не чертыхался и не матерился. Когда в его объятиях очутилось полуголое и, кажется, совершенно мертвое девичье тело, он впал в глубокое детство. По подземному коридору, многократно усиливаясь и отражаясь от кафельных стен, прокатилось его истошное «Мама!»

Слово это, целительное и волшебное, сродни восточным мантрам, не позволило Монголу вслед за собутельниками грохнуться в обморок и даже вернуло способность соображать. Девушка, которую он крепко, до судорог в бицепсах, сжимал в объятиях, на поверку оказалась не такой уж и мертвой. Под тонкой тканью платья отчетливо чувствовалось биение сердца. И кожа была хоть и холодной, но не ледяной, и пахло от нее не формалином, а чем-то горьковато-вкусным, и волосы, на ощупь мягкие, точно лебяжий пух, щетинились липкими колючками лишь на самой макушке, где из рассеченной кожи медленно сочи-

лась ярко-красная кровь. Именно кровь, а не кетчуп — тут уж никаких сомнений. Из всего увиденного вывода напрашивалось сразу два. Во-первых, девочка не подставная актриса, а во-вторых, она ранена и нуждается в помощи.

В том, что помощь неожиданной гостье необходима незамедлительно, Монгол не сомневался ни секунды. Достаточно было глянуть на бледное личико с кровоподтеком у виска и ощутить тяжесть вдруг обмякшего девичьего тела, как мозг начал работать с быстротой сверхскоростного компьютера. Девочка оказалась в морге явно по ошибке: то ли врач, осматривавший ее, был пьян, то ли она в тот момент не подавала никаких признаков жизни. Всякое ж случается: может, у нее кома глубокая была или клиническая смерть. Неважно, главное, что девочка жива.

На кушетке, обтянутой черным дерматином, тонкое тельце смотрелось еще более жутко, чем на каталке, и производило впечатление неживого. Чтобы убедиться в обратном, Монголу пришлось прижаться ухом к наполовину обнаженной груди и долго вслушиваться. Полной уверенности в том, что барышня все еще жива, не было: то ли это ее сердце бьется, то ли пульс у него в ушах. Ладно, кому положено, тот разберется. В «Скорую» пришлось звонить аж три раза. Диспетчер — по голосу древняя бабулька — никак не желала принимать вызов, ругалась плохими словами, обещая натравить на «телефонного террориста» милицию. Монгол, как правило, сдержанный и рассудительный, был вынужден на бабульку-диспетчера наорать и пригрозить судебными разбирательствами за неоказание медицинской помощи и оставление пострадавшего в беде. Угрозы возымели действие, потому что после его контраргументов бабулька с кем-то пошепталась и велела ждать бригаду.

Чтобы скрасить ожидание, Монгол решил заняться товарищами. Зубарев приходил в чувство отказывался: жалобно постанывал, закрывал голову руками и по-детски сучил ногами. Из того, что на раздражители друг все ж таки реагирует, Монгол сделал вывод, что тот уже в сознании и жизни его ничто не угрожает. Осталось разобраться с Франкенштейном.

Франкенштейн его приятно удивил. Парень не стал уходить в несознанку и истерить: после того как Монгол, за неимением других средств реанимации, надавал ему по мордасам, Франкенштейн потряс рыжей башкой, похлопал ресницами и довольно внимательно выслушал рассказ об ожившей покойнице. Даже рискнул подойти к лежащей на кушетке девчонке, осмотреть рану на голове, пощупать пульс, проверить зрачки. Наверное, он не зря учился в мединституте, потому что признаки жизни определил безошибочно, обвел каморку сосредоточенным взглядом, метнулся к шкафу, извлек на свет божий старое шерстяное одеяло, до самого подбородка укрыл им девчонку и только потом сказал:

— Ты бы это... вышел на улицу, встретил гостей. Еще подумают, что мы их разводим, и уедут. А тут такое дело... — Он взъерошил и без того дыбом стоящие волосы и бросил тревожный взгляд на тело под одеялом. — Ей, наверное, в больницу побыстрее надо. Еще не хватало, чтобы она во второй раз окочилась. Ой, что будет! — Франкенштейн, присев на край кушетки, застал.

Монгол сочувственно покивал. Скорее всего, ждуть парня неприятности. Распитие спиртного в рабочее время в компании сомнительных типов — конечно, не преступление, но халатность, тянущая на строгий выговор. Заведение-то не простое, тут же не обычный морг, а судебный, здешние клиенты, наверное,

как-то по-особенному регистрируются. А с другой стороны, если бы не безалаберность санитаря, девочка могла умереть по-настоящему. Так что, с чисто человеческой точки зрения, — это самый настоящий гражданский подвиг.

Додумывал свою оптимистичную мысль Монгол, уже стоя на крылечке, щурясь от света фар подъезжающей «Скорой». Помимо врача, престарелого дядьки с помятым лицом и мешками под глазами, бригада была укомплектована девочкой-медсестрой и внушительного вида санитаром. Да и водитель производил впечатление мужика нехилого и привыкшего ко всякого рода неожиданностям. Наверное, эскулапы решили подстраховаться на случай, если вызвавший их гражданин окажется психом и станет вести себя неадекватно. Монгол неадекватным не был, поэтому, вежливо поздоровавшись, гостеприимно распахнул двери морга и уже на ходу принялся излагать суть дела. Потом инициативу перехватил Франкенштейн, и Монгол счел за благо остаться в тени.

Осмотр не занял много времени. Пока врач шарил по груди пострадавшей фонендоскопом, медсестра измерила давление, неопределенно покачала головой и, выслушав инструкции шефа, принялась набирать в шприц какое-то лекарство. Санитар и водитель безучастными статуями стояли у двери и выглядели так, точно им по пять раз за смену приходится выезжать на вызовы в морг. Даже тихо поскуливающий под столом Зубарев не привлек их внимания. Чувствовалось, что ребята в жизни своей видели вещи и пострашнее. Они оживились, лишь когда по распоряжению врача принялись перекладывать девочку с кушетки на носилки. При этом одеяло сползло на пол, да так и осталось там лежать.

Красное платье когда-то, наверное, было дорогим

и роскошным, но сейчас, порванное, измятое и окровавленное, выглядело ужасно. Оно-то понятно, ко всему привыкшим медикам видеть полуобнаженное тело не впервой, а каково самому телу? Повинуясь минутному порыву, Монгол стащил с себя пиджак, как смог, прикрыл голые девчонкины ноги. Вот теперь как-то цивилизованнее...

От том, что в кармане пиджака остались документы и мобильник, он вспомнил, только когда вой сирены вспорол хрупкую рассветную тишину...

* * *

Сначала не было ничего: ни страха, ни отвращения, ни боли. Смерть, если ничто — это смерть, оказалась не ласковой, но милосердной. А потом что-то изменилось. В благословенную пустоту ворвался звук. Барабаны, большие и маленькие, бубны, трещотки и колючим речитативом мужской голос: «Нарекаю тебя Лией...»

Лия — знакомое слово, и музыка знакомая, и даже мужской голос что-то будит в сознании, куда-то не то тянет, не то сталкивает.

От голоса больно. В голове мириады ярких вспышек, перед глазами кровавый туман, пальцы сводит судорогой. Сопротивляться голосу нет сил, все они уходят на борьбу со вспышками, туманом и судорогами. Силы заканчиваются, начинается падение...

Вслед за болью приходит холод. Это еще страшнее. Ей так страшно, что хочется кричать. Лицо оплетает звенящая паутина, тело корчится под ледяным панцирем. Если у смерти такие слуги, как боль и холод, то она не милосердна...

Губы трескаются в тщетной попытке родить крик. Если удастся закричать, то холод уйдет...

Мужской голос удаляется, забирает с собой гулкую барабанную дробь, на аркане тянет сопротивляющийся туман. Туман не хочет уходить, он живой и голодный. Надо прогнать его, выжать из себя остатки стылости.

Ресницам тяжело, иней давит, не позволяет глазам открыться. Но если очень сильно захотеть...

Она хочет. Смерть жестока, но, кажется, у нее есть альтернатива. Только бы вспомнить, как эту альтернативу зовут.

Пробуждение? Жизнь?

Жизнь! Холод и боль — не чьи-то злые слуги, это ощущения.

Иней на ресницах тает, стекает по щекам холодными ручейками. На счет три можно открывать глаза.

Раз...

Два...

Три...

Свет белый, дрожащий — электрический. Телу больно, потому что оно поломано и брошено на холодный бетонный пол.

Сначала была земля, вязкая, тяжелыми черными комьями налипающая на каблуки туфель, кусты одичавшей малины, сбившееся дыхание и низко-низко висящая любопытная луна, а еще голос: «А девка-то, кажись, окочурилась...»

Она не окочурилась! Она немного поломалась, ей холодно и больно, но она жива! И Лия — не просто знакомое слово, Лия — ее имя. Вот она — реальность, за которую нужно держаться, а все остальное неважно...

Подняться получается не с первой и даже не со второй попытки, а когда наконец удастся, она уже плохо понимает, зачем ей это нужно. Стены бесконечно длинного коридора наплывают и раскачиваются, свет то меркнет, то вспыхивает с новой силой, а

пол вдруг делается зыбким, как земля на пустыре. Единственная путеводная нить — мужские голоса: один высокий и громкий, второй приглушенный, едва слышный. Голоса — это хорошо, можно закрыть слезящиеся от мигающего света глаза и идти на ощупь, по стене.

Голоса все громче, а стена заканчивается. Под рукой вместо холодного кафеля что-то теплое и деревянное — дверь. Ладонь ложится на дверную ручку, все, теперь можно открыть глаза.

Почему-то здесь темно. А может, она ослепла? Стоит, смотрит прямо перед собой, прислушивается к голосам и ничего не видит. Действительность не желает ее принимать, безжалостно выталкивает в незнакомый слепой мир.

В этом мире очень холодно. Холод шершавым языком облизывает лодыжки, карабкается все выше, заставляет зубы выбивать барабанную дробь.

— Помогите. — Может быть, голоса, единственные обитатели слепого мира, смилостивятся, если их очень попросить...

— Изыди, нечистая!

Не смилостивились...

— Ты кто? Ну, что молчишь, красавица? — Это уже другой голос. Он что-то спрашивает, и он добрый, с ним можно поговорить...

— Где я? — Ее зовут Лия, и у слепого мира должно быть имя. Надо только сделать шаг навстречу доброму голосу, дать понять, что она самая обычная, только немного поломанная...

Это только кажется, что сделать всего лишь шаг просто. Непросто. Ноги не слушаются, в голове шумит. Одна надежда на руки. Если вытянуть их вперед, если попытаться нашарить в темноте голос...

Под ладонями что-то мягкое. Вцепиться и не выпустить, попытаться объяснить...

— Мама! — Мягкое вдруг становится твердым, сжимает руки железными браслетами, дышит горячо и часто — боится, но не отпускает.

Из темноты выплывает лицо: бритый череп, широкие скулы, серые глаза, ямочка на подбородке, щетина. Лицо незнакомое, некрасивое, настороженное, но ей неожиданно хочется заплакать от радости. А потом все исчезает, плавится, перемешивается, рушится в пустоту...

— ...Эх, досталось же девке, — голос, скрипучий, незнакомый, жужжит где-то совсем близко, мешает. — Это ж надо сколько натерпелась, жуть!

Открывать глаза не хотелось, но Лия себя заставила — интересно же, о какой такой жути речь и кто ее пережил. Лучше бы она этого не делала. Яркий свет, резанув по сетчатке, заставил зажмуриться и застонать.

— Никак очухалась? — все тот же надоедливый голос, только теперь еще ближе. — Ну и слава богу, а то Иван Кузьмич волноваться начал, что ты все никак в сознание не придешь. Почитай, целые сутки тут лежишь истуканкой.

Истуканкой... Слово какое-то смешное. И кто здесь истуканка? Может, снова рискнуть открыть глаза?

Свет больше не был похож на острый нож. Яркое, но вполне терпимо. Вот если бы еще голова не кружилась.

— Как зовут-то тебя? — Из сияющей белизны выплыло женское лицо. Глубокие морщины, тонкие губы, из-под низко надвинутой косынки хитро поблескивают глаза. Лицо старое, а глаза молодые, девчачьи. — Как зовут, спрашиваю. Говорить можешь?

— Могу. — Во рту сухо, и слова из-за этого даются тяжело. — Мне бы воды.

— Воды? Так вот она, вода-то. — Рука с деформированными артритом суставами и россыпью пигментных пятен на коже протянула что-то непонятное, с носиком, как у заварочного чайника.

— Что это?

— Ишь, какая любопытная! Не успела в себя прийти, а уже вопросы задает. Поильник, что ж еще?

Поильник — это такая штука, из которой поят маленьких деток и тяжелобольных людей. Она не детка. Она взрослая, самостоятельная, вот-вот диссертацию допишет. А что ж тогда голова так кружится? И слабость непонятная...

Теплая вода — а хотелось ледяной — полилась в горло, тонкой струйкой стекла по подбородку за шиворот желто-серой ночной сорочки. Сорочек она отродясь не носила, да еще такого жуткого фасона и с жирной черной печатью на самом видном месте. Ну-ка, что там на печати?

— Куда?! — На руку, уже готовую потянуться к вороту сорочки, легла сухонькая ладошка. — Сейчас вену себе пропорешь! Что ж ты за егоза такая? День пластом лежала, а тут, гляди, какая прыткая стала.

Кто день пластом лежал?.. Какая вена?..

На то, чтобы всего лишь повернуть голову, понадобились невероятные усилия. В ушах угрожающе зашумело, перед глазами поплыл розовый туман. Да, что-то с ней не то. Точно не то. Вот штатив с капельницей. Игла, впивающаяся в вену. Вот аккуратно, показарменному застеленная койка, тумбочка с покосившейся дверцей, выкрашенные голубой краской стены. Вот еще с далекого детства знакомый запах общественной столовой, дезсредств и людских страданий. Больница. Она попала в больницу. Ее вырядили в

дурацкую сорочку, поят, как маленькую, из поильника, втыкают в вены какие-то капельницы и рассказывают сказки о том, что почти сутки она лежала пластом.

— Тебя, горемычную, к нам из морга привезли, — в голосе незнакомой тетеньки недоумение пополам с какой-то непонятной радостью. — Вот прямо с биркой на ноге, как самую настоящую покойницу. Да, честно тебе скажу, от покойницы-то ты мало чем отличалась. Синяя, холодная, вся голова в кровище. Уж чего я за тридцать пять лет службы не навидалась, а и то испугалась. А Иван Кузьмич посмотрел, говорит — живая девочка, просто без сознания. Ну, обследовали тебя, как водится, накололи, капельницу поставили. Думали, что скоро в себя придешь. Да не тут-то было, целые сутки ты, красавица, между небом и землей болталась. Помнишь хоть, что с тобой приключилось? — Во взгляде, до этого жалостливом, зажглось жгучее любопытство.

Приключилось... Вспоминать не хочется, но слова тетеньки точно прорвали в памяти невидимую плотину. Поток ярких образов хлынул в мозг, закружился в пестром водовороте:

«А девка-то того, кажись, окочурилась...»

Волна воспоминаний схлынула так же внезапно, как и накатила, оставляя после себя разрозненные обрывки, голоса, образы. После пустыря было еще что-то, какое-то странное место: яркий свет, длинный коридор, бой барабанов, широкоскулое мужское лицо... Или не было? Может, она все придумала? Может, все это — лишь игра воображения, порождения травмированного мозга?

Свободной рукой Лия пробежалась по волосам. Волосы слипшиеся, колючие, на затылке под пальцами — шишка.

— Да ты не бойся, рана пустяковая, всего пять швов наложили. Кузьмич больше переживал, чтоб с мозгами твоими чего не случилось, а болячка до свадьбы заживет.

Какая свадьба? У нее и жениха-то нет. Работа есть, диссертация, хобби, а с женихом как-то не сложилось, все не до того было. А с мозгами, похоже, проблемы будут. Если не удастся все по порядку вспомнить, значит, что-то не так, какие-то связи нарушились. Только бы не самые главные.

— Ну, хоть что-нибудь-то помнишь? Кто на тебя напал, как в морге очутилась?

Кто напал? Да, это она помнит. Можно сказать, в мельчайших подробностях. А вот все остальное, точно в тумане — амнезия. Слово красивое, а ощущения мерзкие. И головокружение совсем некстати. Наверное, именно из-за него не удастся вспомнить. В голове вместо связных мыслей барабанный бой. Кстати, ритм интересный. Только бы не забыть...

— Я в реанимации? — Собственный голос кажется незнакомым, низким и сильным.

— А чего тебе в реанимации делать-то? Ты ж дышишь самостоятельно, и анализы у тебя дай боже каждому.

— Так без сознания же...

— Подумаешь, без сознания, главное, что без серьезных повреждений. Вон Иван Кузьмич вообще говорит, что на тебе все заживает как на собаке. А больничка-то у нас маленькая, небогатая. Реанимаций на всех не напасешься. Да ведь тебя ж никто не бросал без присмотра. Я, почитай, полдня с тобой сiju. Уходила только на этаже прибраться. Кто ж за меня приберется? И палату тебе, смотри, какую хорошую выделили, можно сказать, люкс. Одна лежишь, как короле-

вишна. Белье постельное свежее, сорочка чистенькая. Хочешь, халатик попримечнее подберу?

Халатика попримечнее не хотелось, достаточно сорочки с печатью. А вообще, пора выбираться из этой богадельни. Если уж сам Иван Кузьмич сказал, что на ней все заживает как на собаке, так чего лежать, место занимать?

— А обход скоро? — Может, удастся поговорить с кем-нибудь из врачей, прояснить ситуацию.

— Так только завтра утром. — Санитарка уселась на свободную кровать, скрестила на груди натруженные руки. — Ночь же на дворе, все по домам разошлись. Хочешь, дежурного доктора позову? Только сразу предупреждаю, он не из нашей больницы, залетный какой-то. И вообще, молодой еще, не то что наш Иван Кузьмич, — она неодобрительно покачала головой, сетуя то ли на залетность, то ли на молодость дежурного врача. — А что, тебе совсем худо, красавица? Так я Адамовну могу кликнуть, у нее сегодня дежурство. Очень женщина положительная, у нее...

— Не надо, спасибо. — До утра можно потерпеть. Все равно на ночь глядя, да еще в сорочке с печатью на самом видном месте, далеко не уйдешь. Однажды уже сходила, на всю жизнь теперь запомнит. А санитарка и сама по себе ценный источник информации, лучше попытаться у нее кое-что выяснить. — Простите, как вас зовут?

— Петровна я. — Глубокие морщинки собрались лучиками вокруг улыбающихся глаз. — Сестра-хозяйка здешняя. Вообще-то, я что-то вроде начальства и по ночам обычно не дежурю, но у Надьки Свириденко ребенок заболел, вот и пришлось вместо нее на смену выйти, вспомнить молодость. Так как насчет халатика? Подыскать тебе что-нибудь подходящее?

А, пожалуй, и подыскать. Надо ж на обходе выглядеть более-менее прилично. Не в ночнушке же с доктором общаться. В коридор, опять же, нужно в чем-то выйти. Палата хоть и «почти люкс», но без удобств.

— Спасибо, Петровна. — Ей еще повезло, что женщина попалась такая душевная. Другая бы, может, и разговаривать не стала, а эта сама помощь предлагает. — А что с моей одеждой?

Платью конец, но в потайном кармашке оставались кое-какие деньги. Вот и пригодилась детская привычка рассовывать заначки по разным углам. Надо же как-то Петровну отблагодарить за заботу.

— Одежда? — Морщинки-лучики стали еще глубже. — Так все в порядке с твоей одежей. Ну, в смысле, платье-то уже никуда не годное, порванное и грязное, а вот пиджак в очень даже приличном состоянии.

— Пиджак?!

— Так тебя в нем и привезли. Я сразу смекнула, что вещь дорогая, хорошая. Этикеточки не по-русски написаны, и пахнет вкусно, наверно, дорогим одеколоном.

От бомжей дорогим одеколоном не пахло. От них вообще несло так, что вспоминать страшно. Чей же пиджак-то?..

— Я первым делом карманы проверила. — Петровна слегка нахмурилась. — Не из любопытства, а согласно инструкции. Вдруг там что-то ценное.

— И что там?

— Много чего. Документы, мобильный телефон, портмоне с деньгами. Ты только не подумай, я все описала и аккуратненько назад в карманы сложила. Мне чужого не нужно.

Ей тоже чужого не нужно, но если этот загадочный пиджак был на ней, то стоит хотя бы на него посмотреть.

— Хочешь, я прямо сейчас его принесу? Он у меня в подсобке заперт, не решилась такое богатство в гардероб сдавать. — Петровна точно читала ее мысли.

— И платье, если не трудно.

— Не трудно. Что ж трудного-то? Только платье ты вряд ли наденешь, оно ж порванное все и в кровище.

— Петровна, пожалуйста. — Объяснять, зачем ей испорченное платье, не хотелось, да и сил не было.

К счастью, женщина от дальнейших расспросов воздержалась, лишь посмотрела внимательно и, пробормотав что-то себе под нос, вышла.

Как только за Петровной захлопнулась дверь, палата сразу наполнилась какой-то особенной, вязко-тягучей тишиной, которую вроде бы и абсолютной не назовешь — из коридора до Лии доносились звуки чьих-то шаркающих шагов, скрип половиц и приглушенные стенами стоны, — но на душе именно от этого становилось мутно и тоскливо.

Лия отвернулась к окну. За стеклом оранжевый свет фонарей сливался с белым лунным сиянием. Луна была похожа на огромный кособокий блин. Значит, совсем скоро полнолуние — тревожное время, нелюбимое с раннего детства. В прямоугольнике окна промелькнули черные тени, послышался слабый скрежет. Сердце испуганно екнуло. Это всего лишь ветви деревьев, никаких монстров, ничего страшного. Наверное, с мозгами у нее и в самом деле не все в порядке, коль обычная больничная тишина кажется гнетущей, а тень старого дерева — зловещей.

Пытаясь избавиться от недобрых мыслей, Лия потрянула головой. Палата и окно с пляшущими за ним тенями тут же поплыли и утратили резкость, а к горлу подкатила тошнота. Мир вернулся в привычные рамки только после того, как Лия крепко-крепко

зажмурилась и сделала несколько глубоких вдохов, прогоняя из горла горько-колючий ком.

— Ну, вот они, вещички-то твои! — В палату вернулась Петровна. В руках женщина держала два свертка: один большой, темно-серый, второй поменьше. — Только ты это, одежду свою спрячь, а халатик надень. Иван Кузьмич очень не любит, когда режим нарушают.

Маленький сверток оказался застиранным фланелевым халатиком, таким ветхим, что, казалось, тронь его — и он рассыплется.

— Спасибо, Петровна. — Голова еще кружилась, но Лия заставила себя улыбнуться. — Я надену.

— А вещи все на месте. Ты проверь, чтобы потом не говорила... — По морщинистому лицу женщины промелькнула тень.

— Да я не стану го...

— Проверь-проверь!

Пиджак был импортным, с виду недешевым. Пахло от него и в самом деле вкусно. Так вкусно, что Лия поднесла его к самому лицу, чтобы острее почувствовать горько-древесный аромат.

— В карманах документы, — напомнила Петровна.

— Да-да, я сейчас.

Во внутреннем кармане пиджака лежал заграничный паспорт. С не очень удачной фотографии на Лию смотрело широкоскулое, точно топором рубленное, мужское лицо. Лицо было незнакомое, но Лию отчего-то не покидало смутное ощущение уже виденного. Кому принадлежит паспорт, она прочесть не сумела: буквы расплывались и не желали складываться в слова.

— Там еще и кошелечек, глянть-ка. — Петровна присела на край кровати и с детским любопытством уставилась на Лию.

От дорогого кожаного портмоне пахло так же приятно, как и от пиджака. Наличности в кошельке

оказалось немного, всего тысяча сотенными купюрами, но три кредитные карточки говорили о том, что хозяин топором рубленного лица — человек небедный, а внушительная стопка визиток красноречиво намекала на его обширные знакомства. Совершенно непонятым оставалось лишь одно — как пиджак, портмоне и паспорт очутились среди ее вещей.

— Ну, все на месте? — Глаза Петровны подозрительно сузились.

— Да, кажется. — Лия очень надеялась, что женщина не расслышит ложь в ее голосе. Может быть, этот незнакомец, хозяин пиджака, как-то связан с тем, что с ней случилось. И пока она все до конца не выяснит, вещи должны оставаться у нее.

— А телефон? Про телефон-то почему не вспоминаешь?

— Забыла.

Значит, еще и телефон есть. Хорошо, с помощью телефона можно будет связаться с его владельцем.

— Забыла? — Взгляд Петровны сделался настороженным, но потом морщинистое лицо расплылось в улыбке. — Да и то верно, у тебя ж с головой проблемы. Ты глянь на телефончик-то, вдруг вспомнишь что.

Ничего она не вспомнила, повертела растерянно мобильник в руке, попыталась открыть записную книжку.

— Не получится. — Петровна сочувственно покачала головой. — Батарея села. Иван Кузьмич же первым делом пытался по нему кому-нибудь из твоих родных дозвониться, а телефон оказался разряжен. И зарядить никак не получилось. Уж больно вещь редкая, ни у кого в больнице ничего похожего не нашлось. А ты сама-то хоть что-нибудь вспомнила? Ну, чей это пиджак-то?

— Нет, — Лия осторожно, опасаясь недавней тошноты, покачала головой.

— Значит, все-таки амнезия, — со знанием дела сказала Петровна. — Когда тебя «Скорая» к нам привезла, ты этим пиджаком укрыта была, бережно так. Значит, не чужой человек о тебе позаботился.

— Значит, не чужой. — Слова болью отозвались в висках. Да только где ж он, этот «не чужой», почему за целые сутки, что она провела в больнице, не появился, не поинтересовался? А, может, приходил? Она ж без сознания была, откуда ей знать наверняка — навещал ее кто или нет.

— Что-то ты, девонька, побледнела. — Петровна провела натруженной ладонью по Лииному лбу. — Да ты не беспокойся, найдется твой мужик, — она немного помолчала, пожевала тонкими губами, а потом добавила: — Куда ж он денется-то без документов?

Оно и верно. Куда ж он без документов? Либо сам ее найдет, либо она с ним свяжется. Надо же человека поблагодарить. Наверное, он нашел ее на пустыре и вызвал «Скорую». А про морг это уже Петровна насочиняла...

— Может, дежурную медсестру позвать или, хочешь, доктора? — Обеспокоенная ее молчанием, женщина подалась вперед.

— Не нужно, спасибо. Мне бы поспать, — Лия просятельно улыбнулась.

— Ладно, ухожу. — Петровна с кряхтением встала. — Мне тоже сон не помешает, а то весь день тут с тобой...

Фраза ее, да и взгляд, которым женщина посмотрела на портмоне, были очень красноречивыми.

— Петровна, вот, возьмите сами, сколько нужно, — Лия протянула ей кошелек. Ничего, что деньги чужие.